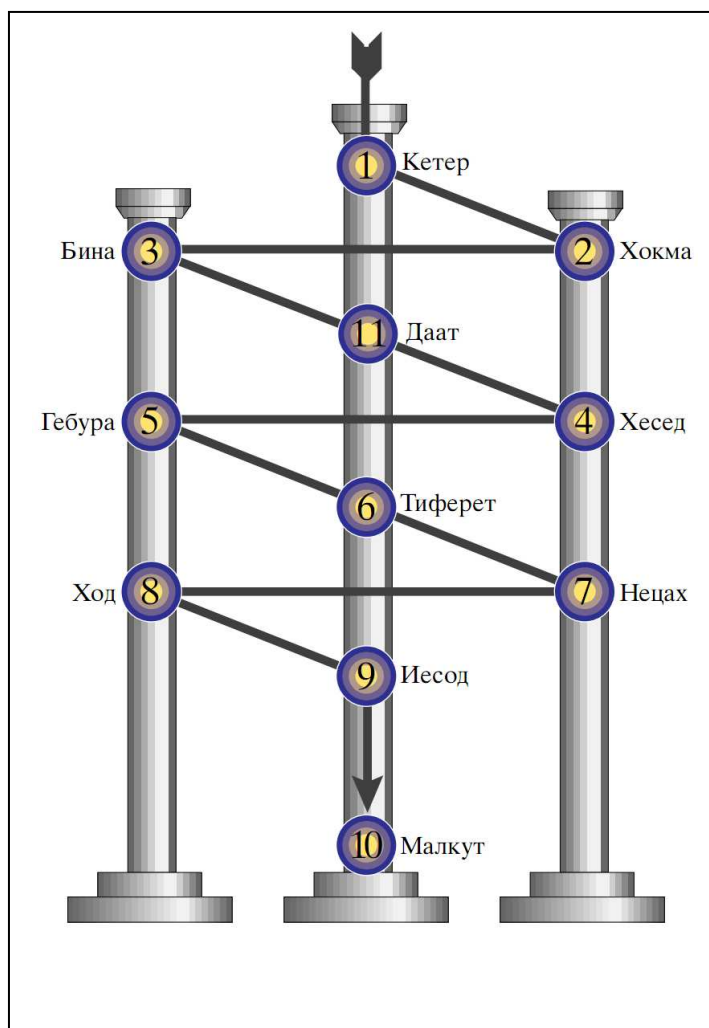


ГЛАВА 28

Последние похождения Коровьева и Бегемота



Сефира 5. Наименования: *Гебура, Строгость, Справедливость, Сила.*

Топология: *В центре Колонны Строгости.*

План: *Бриа.*

Планетарное соответствие: ♂ *Марс.*

Зодиакальное соответствие: ♄ *Козерог.*

Имя Божье: *Элохим Гибор.*

Гностический символяриум: *Справедливость; Правота; Собранность; Внутренняя сила; Уверенность в себе; Состоятельность; Антропный принцип Вселенной; Небезоружность перед противником; Противостояние обстоятельствам, пытающимся застать врасплох; Готовность; Смелость; Смех предпоследнего; Прицельность; Меткость.*

Итак, “рыба” ушла сквозь сети, и сумма узлов, соединённых между собой, обернулась лишь суммой санузелов эльпитовской коммуналки. Самое же “созвездие Рыб” рассредоточилось по Москве в прощальном “остаточном” шмоне.

Начинается *гротесковая* сцена в *торгсине*. Карнавальный дуэт *Бегемот & Коровьев* вламывается в инвалидный магазин, преодолевая сопротивление “маленького, костлявого и крайне недоброжелательного швейцара”, прибегая к “высоким” доводам и “низким” угрозам, еле-еле сдвинув на малую щель закосневшее, многовековое холуйство. Цербера-шавку удалось миновать, и разворачивается громоподобная “демистификация” совкового реликвария. Для начала ритуальную тишину храма Мамоны прорезала бестактная и неуместная похвала пахлаве, “штабелям” и “штукам”, которую испустил один из вошедших.

На стыке гастрономического и кондитерского отделений разворачивается спектакль в стиле гамлетовской «мышеловки» вокруг низенького, совершенно квадратного человека, бритого до синевы, в роговых очках, в новёшенькой шляпе, не измятой и без подтёков на ленте, в *сиреневом* пальто и лайковых рыжих перчатках¹. Этот — сокращённо — *сир* “голанский”, мошенник и очковтиратель нарвался, “нарвал”, на инспекцию и *демошенизацию* с абсолютно непредвиденной стороны, ибо небесный контроль ещё никому предвидеть и перехитрить не удавалось. Ни “квадратура круглости”, ни синь щёк, доводящая *сиреневость* пальто (№ 1) и костюма (№ 10) до полной баклажанности, не помогли. Начало сцены не предвещало для него никаких неприятностей. *Сир* “стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал *сиреневого* клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой *лососины* её похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру. <...>

— Кароши? — строго спрашивал *сиреневый* покупатель.

— Мировая! — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.

— Кароши люблю, плохой — нет, — сурово говорил иностранец.

— Как же! — восторженно отвечал продавец”.

Веласкесовская живопись (*сиреневый*, рыжий, белый, синий, розовый, серебристый) раскрашивает Заяицкий гротеск («Баклажаны», «Лососинов»), переводя действие от фельетонных шпилек в весёлую раблезиану: начинается разгром всего этого показушного великолепия.

“Совершенно *пожелтев*, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин:

— Палосич! Палосич!”

Но что может Полосич против Клетыча?

Пробуют взять “гадов” на сигнальный свист. Пока суд да дело, Коровьев глушит толпу социалистической демагогией — и достигает успеха. *Сиреневого* с валютой люто валяют в селёдочном рассоле, после чего к нему возвращается российская артикуляция без ни малейшего акцента и языковой скованности. Мат — не всегда благой — вырывается из него без всякого искажения. Двенадцать раз на

¹ Многозначительный *сиреневый* цвет достался Булгакову по наследству от Достоевского и перекочевал в МиМ из «Преступления и наказания» от *сиреневых* перчаток Лужина — самого омерзительного персонажа романа. Булгаков добывает гадину.

пространстве четырёх страниц звучит магическое “сиреневый”, являя в лощёном господине шута горохового, *Повешенного* вверх ногами, — и...

“Зазвенели и посыпались стёкла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя — и Коровьев, и обжора Бегемот — куда-то девались, а куда — нельзя было понять. Потом уже очевидцы, присутствовавшие при начале пожара в Торгсине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские *шары*”.

Через минуту Бегемот и Коровьев оказались у дома грибоедовской тётки. Разыгрывается второе действие прощального карнавала: выводятся на чистую воду интеллектуальные фальшивки. Саркастические сентенции по поводу “какана-насов” в экспозиции “картины второй” предсказывают огромное количество разоблачений при минимуме магии на квадратный сантиметр полотна. Причём “*сантиметр*” в этом случае прочитывается в рафаэлевском смысле: в аспекте Пушкинского “Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля”. Т. е. *она нас*, а мы — её.

— “Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот. <...>

— Совершенно верно, — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев, — и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспекает будущий автор «Дон-Кихота», или «Фауста», или, чёрт меня побери, «Мёртвых душ»! А?

— Страшно подумать, — подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев, — удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимнии и Талии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесёт читающей публике «Ревизора» или, на самый худой конец, «Евгения Онегина»!

— И очень просто, — опять-таки подтвердил Бегемот”.

То, что для профанного уха выглядит едкой иронией и подколом, на самом деле есть духовный вердикт и нравственный приговор гнездовью самозванцев и лжепророков. Гротесковое описание открывающегося свежему взору клопиного рения “воротил пера” — всего лишь обведение чётким контуром чудовищного уродства ситуации. Это такой же карнавал, как и название сладкой парочки “хулиганам”, “негодьями” и проч. Всякий, нарушающий мещанскую упорядоченность мирского бытия, характеризуется только в отрицательных тонах; структура бытия подразумевается идеалом и её деформация — негативом в самом уничижительном смысле слова. Эта клиническая, непробиваемая посюсторонность и есть главная мишень Булгаковских иронических стрел, в большей степени, чем её конкретные забавные проявления. МиМ — роман не сатирический, а философский, поэтому каж-

дый кристаллик любого повествовательного события играет тысячами разноцветных граней, возводя конкретную ситуацию к бессмертному кристаллу Иешуа.

...Коровьев и Кот разыгрывают “сценку у турникета”; на этот раз “вагоновожатая” сидит “на проходе” у Грибоедова и пытается “не пущать” приятелей, действуя методом искусственного отбора. Белый берет с хвостиком в белых носочках берёт начальственный тон, контролируя контролёров и выговаривая им за неосновательное вторжение. Конечно, Коровьеву ничего не стоило тут же соткать из воздуха нужные документы; но он не упускает случая для апостолической проповеди и педагогического внушения одной из “малых сих”, дабы не оставить *болванку* хотя бы без начальной обработки.

“...чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых *пять* страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? — обратился Коровьев к Бегемоту.

— Пари держу, что не было, — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукой на закопчённом лбу.

— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.

— Ну, почём знать, почём знать, — ответил тот.

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.

— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен!”

Уважения достойно, сколь высоко котируется Фёдор Михайлович в Ведомстве Справедливости, ещё более восхищает, насколько легко, игриво и неподобно страстно цитируется его жизнь и деятельность представителями этого Ведомства, *разгуливающими* (ишь, голубя!) по Москве. Грозное имя пророка появляется, конечно, неспроста: апокалиптические раскаты уже раздаются вдалеке, не слышимые в подвалах ада. Любино хамское замечание пригодились-таки, обнаруживая в людях чудовищную глухоту на тайное, сокрытое. Всё в этом мире происходит согласно предьявляемым *удостоверениям*, и они всегда перекрывают реальное содержание носителей.

“— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка.

— Помилуйте, это в конце концов, смешно, — не сдавался Коровьев, — во все не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почём вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? — и он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть её”.

Мало ей слова-пароля «*Достоевский*»; ей надо, видите ли, *удостовериться!* *Безусловное* попадает под юрисдикцию *условного, вечное — временного*. Короткая перепалка по поводу *смерти* подчёркивает всю “*дьявольскую разницу*” в языке и мышлении: *мышь* против *мысли* — это, воистину, впечатляет. Сцена осталась бы в разряде курьёзов из серии “связался чёрт с младенцем”, если бы не два обстоя-

тельства: злобному “младенцу”, пытающемуся “не пущать”, противостоит всего лишь добродушное резонирование и имя “хвостика” — Софья Павловна.²

Это резко меняет тональность происходящего, переводя его в совсем не шуточный серьёз. Агрессивная *Савловна* верит только “удостоверениям”, невзирая на лица, мысли, чувства и иной, по её мнению, мусор. “Мудрость” пигмея “Павла” в том и состояла, чтобы перевести Откровение в “удостоверение”, разделив ойкумену документом на “своих” и “чужих”. *Маленькая* пигалица “в белых носочках” воплотила этот принцип в полноте, и потребовалось *демоническое* вмешательство самого “флибустьера”, чтобы крыса СоПа с *амбарной книгой* (своего рода “какоангелием ада”) угомонила.

“...Софья Павловна покорно спросила у Коровьева:

— Как ваша фамилия?

— Панаев, — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный *взор* на Бегемота.

— Скабичевский, — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии «Панаев» написал «Скабичевский», а Бегемот против Скабичевского написал «Панаев».

Собственно, посетителей — включая примус — было трое, и рас(с)троенная (привратники всё понимают превратно) билетёрша-бультерьерша сдалась, подняв на ненавистных оборванцев свой готовый взорвать их взор. Именно в этот момент приговор “Грибоедову” был *утверждён и подписан*.

Однако сам “командир брига”, бригадир взвода официантов Арчибальд Арчибальдович, проявил поистине неслыханную, папахивающую мистикой пронизательность: и вокруг усевшихся на лучших местах бродяг завертелось колесо угодничанья и предупредительности. Один из официантов “уже подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана окурочек и всунувшему его в рот”, другой, громыхая подносом, всюду мчался за напитком и закусками... Словом, через короткое время вся эта чрезмерная суэта вызвала к себе повышенное, пристальное и завистливое внимание остальных посетителей гадюшника. Начались ревнивые позвякивания ложками, однако пират “не покинул своих дорогих гостей”.

² В качестве дополнительного комического обертона Булгаков использует аллюзии-переключки с гениальной комедией племянника пресловутой тётки. Явление Ивана Бездомного в Грибоедове обыгрывается как своего рода пародия на Чацкого с его странностями, взбаламутившими фамусовское болото. “Безумным вы меня ославили всем хором” — это и мнение об окружающих Ивана, высказанное, правда, в менее нормативной лексике. “Карету мне, карету!” оборачивается “каретой скорой помощи”, вернее, исполняющим её функции грузовиком. На героиню «Горя» намекает и имя, и отчество “*бледной* и *скучающей* гражданки в *белых* носочках и *белом* же беретике”, причём здесь не обходится без посредничества Пушкина. Высказываясь о комедии своего тёзки, он говорил, что грибоедовская Софья “не то блядь, не то московская кухня”, а *блядь*, *белядь*, и есть то, на что намекает Булгаков своим тройным словесным сплетением. На имя героини «Горя от ума» прямо указывает и предание о том, что “во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тётке, раскинувшейся на *софе*”. Не исключено, что Софья Павловна и была “прехехешей” лжеучителя Берлиоза, что особенно выразительно в аспекте его принципиального савлианства.

“Ах, умён был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней слышал, но, в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально, ссориться с ними не стал. *А вот Софья Павловна хороша!* Ведь это надо же выдумать — преграждать этим двум путь на веранду! *А впрочем, что с неё спрашивать*”.

Да уж, преграждать путь этим двум гражданам — дело безнадёжное.

Предупредительно отпросившись на минутку, “дабы лично приглядеть за филейчиками”, флибустьер спустился в кладовую и приготовился к эвакуации с тонущего корабля.

“Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было и странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом — феноменальное чутьё Арчибальда Арчибальдовича подсказали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен, и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутьё, никогда не обманывающее бывшего флибустьера, не подвело его и на сей раз”.

“Переносчик заразы” Боба Кандалупский уже объявился в ресторане с новостями о происшествии на Садовой. И в то время, когда грибоедовская шушера внимала его правдивому “свисту”, на веранду ресторана “стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках”.

Как ни неправдоподобно звучал рассказ Бобы о вылетевших в окно обитателей “нехорошей квартиры”, перенесших как ни в чём не бывало перекрёстный огонь “полномочных органов”, на этот раз он оказался абсолютно прав.

“Передний крикнул звонко и страшно:

— Ни с места! — И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент”.

Тент над верандой дома, где жила грибоедовская tante, мгновенно занялся, всё вокруг запылало... но как и на Садовой, никто из людей не пострадал, в том числе и “тальянка” из трёх револьверщиков, — обошлось без членовредительства органов.

“Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шёлковой подкладке, с двумя балыковыми брёвнами под мышкой”.

Густо, семнадцать раз на протяжении четырёх страниц повторяется средневековое имя экспроприатора экс-пирата. На шестнадцатом его упоминании в грибоедовском ресторане вспыхивает пожар (аркан *Молния с неба*). Когда же капитан покидает своей тонущий корабль, над спокойным и гладким морем вспыхивает дневная *Звезда*.